

Серия
«Антология мысли»

Е. В. Тарле

ЖЕРМИНАЛЬ И ПРЕРИАЛЬ

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2021

УДК 94
ББК 63.3(0)5
Т20

Автор:

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — российский и советский историк, педагог, академик Академии наук СССР.

Тарле, Е. В.

Т20 Жерминаль и прериаль / Е. В. Тарле. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-11282-5

Книга представляет собой труд советского историка Евгения Викторовича Тарле о событиях, связанных с народными восстаниями в Париже 1795 года — последними массовыми выступлениями «плебейских» предметов французской столицы в эпоху «величайшей из буржуазных революций европейского прошлого».

Печатается по изданию 1957 года.

Для широкого круга читателей.

Издание имеет значительную историческую, художественную или иную культурную ценность и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» под действие указанного Федерального закона не подпадает.

УДК 94
ББК 63.3(0)5

Разыскиваем правообладателей и наследников Тарле Е. В.: <https://www.urait.ru/inform>
Пожалуйста, обратитесь в Отдел договорной работы: +7 (495) 744-00-12; e-mail: expert@urait.ru

Оглавление

Предисловие	6
Глава первая. Основные черты социально-экономической обстановки между 9 термидора и 12 жерминаля	9
Глава вторая. Термидорианцы и правые группировки	39
Глава третья. «Вершина» (последние монтаньяры)	73
Глава четвертая. Жерминаль	89
Глава пятая. Между 12 жерминаля и 1 прериала	105
Глава шестая. Первое прериала	120
Глава седьмая. Второе и третье прериала	143
Глава восьмая. Четвертое прериала	157
Глава девятая. Прериальский террор	172
Глава десятая. После казней	209
Заключение	232
Документы и литература	235

Предисловие

Жерминаль и прериаль были последними массовыми выступлениями «плебейских» предместий Парижа в эпоху французской революции, величайшей из буржуазных революций европейского прошлого.

Были в эту весну 1795 г. налицо: самоотверженная готовность к борьбе с беспощадным классовым врагом, раздражающее чувство и запоздалое сознание какого-то рокового обмана, совершенного имущими классами 9 термидора, было желание вернуть упущенный момент, померяться силами с убийцами Робеспьера, которым слишком легко достался успех, притянуть к ответу спекулянтов и воров, наживающихся на голоде неимущей массы; были даже, по-видимому, некоторые зачаточные попытки организованного выступления. Но не было ни своих признанных вождей, ни разработанной и усвоенной рабочими политической программы, которая шла бы дальше требования восстановления конституции 1793 г. и мер по борьбе с голодом и дороговизною, не было даже подготовленной согласованности в действиях и выступлениях между революционной массой и мелкобуржуазными «последними монтаньярами», которые жизнью своею заплатили за свое личное выступление 1 прериала, но жертва которых оказалась политически бесплодною. Отсутствие чего бы то ни было похожего на *свою* рабочую партию, на *свою* политическую организацию, *своих* классовых вождей, на *свою* планомерную тактику — жестоко сказалось в дни 1, 2, 3 и 4 прериала. Но в истории мирового пролетариата эти дни занимают огромное и навеки памятное место, хотя, конечно, это было вовсе не чисто пролетарское восстание: это было восстание столичной плебейской массы, в которую рабочие входили лишь как одна из составных частей. За всю историю французской революции нельзя назвать ни одного революционного выступления, которое до такой степени было бы именно выступлением (и значительным по своим размерам выступлением) неимущих против имущих. Вместе с тем не было ни одного движения за весь революционный период, которое имело бы такие роковые для революции последствия, как полное разоружение всего рабочего населения Антуанского предместья, если не считать более грандиозного по общему своему политическому значению события 9 термидора. Восторжествовавшая буржуазия, после своего военного «похода 4 прериала»,

полностью использовала победу над враждебным классом. Только детальное изучение документов, относящихся к жерминальскому и прериальскому восстаниям, может показать, до какой степени этот резко-классовый характер борьбы был осознан уже современниками, свидетелями и участниками.

В дни побед рабочий класс не должен забывать историю своих героических поражений.

Поразительная скудость специальной литературы по истории жерминаля и прериала 1795 г. заставила меня обратиться исключительно к источникам и принудила подвергнуть самостоятельному обследованию даже такие вопросы, которые лишь косвенно и отдаленно касались моей темы. Многие рукописи оказались настолько полны интереса и научного значения, что я чрезвычайно жалею о невозможности привести их целиком. Желая все же сделать их хоть сколько-нибудь доступными читателю, я даю довольно большие выдержки¹.

Собственно, только в старой (1867 г.) книге Жюля Кларти «*Les derniers montagnards*» есть очень скудные и случайные ссылки на неизданные документы, на которых основана моя книга. Даже Альбер Матъез в своей книге о термидорианской реакции ни разу не ссылается на эти документы в небольшой главе о жерминале и прериале. Нечего и говорить о новейшей книге «*Les thermido-riens*» Лефевра, сплошь основанной на работе Матъеза, так же, как и остальная, имеющая открыто (или замаскировано) компилятивный характер литература, затрагивающая так или иначе историю этих двух восстаний. В советской историографии должно отметить страницы, посвященные этой теме, в книге одесского профессора Добролюбского «Термидор», выгодно отличающейся своей добросовестностью от других, вышедших еще под извращающим воздействием «школы» Покровского.

При таком положении разработки вопроса (вернее, при полном отсутствии специальной разработки) нам представилось необходимым дать себе (и читателю) отчет о том, как рисуют эти выцветшие, пожелтевшие, бледными, расплывающимися буквами писанные рукописи то, что происходило в эту памятную весну 1795 г.

Маркс и Энгельс, которых влекла к себе эта тема вследствие их всегдашней живейшей научной любознательности и постоянного исключительного интереса к революционным моментам социальной борьбы в прошлом, неоднократно упоминают в своих произведениях о жерминальском и прериальском восстаниях, но, кроме отдельных замечаний в мемуарной литературе, у них почти ничего не было для систематического ознакомления с этими событиями.

¹ Архивный материал, приводимый мною в конце книги, дается в той транскрипции, которая свойственна документам конца XVIII в.

Имевшаяся литература, за вычетом разве указанной книги Жюль Кларти и нескольких страниц в общей работе Эдгара Кинэ, ничего, кроме беглой и бледной схемы, не давала.

Но они правильно оценили события.

«Французская революция была социальным движением от начала до конца», — сказал в своей речи «Празднество наций в Лондоне» Энгельс, поясняя предварительно, что он имеет в виду в данном случае:

«Уже эта революция не была просто борьбой за ту или иную государственную форму... Связь между большинством восстаний того времени и голодом; значение, которое имело продовольственное снабжение столицы и распределение запасов уже начиная с 1789 г.; декреты о максимуме цен, законы против скупщиков жизненных припасов; боевой клич революционных армий: «Война дворцам, мир хижинам»...»¹ Наконец, революционный лозунг «Карманьолы» о том, что республиканец должен иметь не только оружие и храбрость («*du fer et du coeur*»), но так же и хлеб («*du pain*»), — вот чем Энгельс иллюстрирует свои слова. Восстания в жерминале и прериале и были, прежде всего, восстаниями из-за нужды, протестом против скупщиков, борьбой за хлеб против эксплуататоров, «конфисковавших революцию» в пользу своего кармана.

Конечно, оба восстания 1795 г. не были и не могли еще быть названы восстаниями пролетариата, хотя в них и участвовало главным образом население рабочих предместий.

Слабость и неорганизованность восставших сыграла и не могла не сыграть свою конечную роковую роль. Оба восстания окончились поражением. Но это не мешает им считаться по праву явлениями крупного исторического значения.

«...Революция побеждает, если она двигает вперед передовой класс, наносящий серьезные удары эксплуатации. Революции при этом условии побеждают даже тогда, когда они терпят поражение», — эти слова Ленина вспоминаются тут невольно².

Эта мысль приложима и к геройскому поражению борцов плебейской массы Парижа в жерминале и прериале 1795 г. Пулей, штыком и гильотиной ответила на эти восстания победившая буржуазия в жерминале и прериале. Испуг собственнических классов породил неистовую злобу и жестокость.

Оба восстания показали все-таки торжествовавшим победителям, что 9 термидора еще не все их враги были подавлены.

В истории мировой борьбы эксплуатируемых против эксплуататоров «мрачные герои» жерминаля и прериала, как назвал одного из них Герцен, никогда забыты не будут.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, изд. 2, стр. 588.

² В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 341.

Глава первая

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

МЕЖДУ 9 ТЕРМИДОРА И 12 ЖЕРМИНАЛЯ

Общие экономические условия существования парижской рабочей массы между 9 термидора и 12 жерминаля. — Последние времена максимума. — «Имущие» и «неимущие».

I

Приступая к рассмотрению общей экономической обстановки, в которой жила парижская неимущая масса — и прежде всего рабочие предместья — в суровую зиму 1794/95 г. и весной 1795 г., мы коснемся, в первую очередь, вопроса о том, в какие продовольственные условия была поставлена эта масса. Этот вопрос, конечно, тесно связан с другим: насколько продолжавшееся еще несколько месяцев после 9 термидора существование максимума отражалось (или не отражалось) на жизни рабочего класса и как жилось рабочему классу после формальной отмены максимума. Постараемся с возможной краткостью ответить на этот вопрос.

В тот момент, когда — весной, летом и осенью 1793 г. — городская беднота добивалась (и добилась) таксации, а в Конvente монтаньяры (не говоря уже о жирондистах) одни — упирались, противились, другие — замалчивали и откладывали эту меру, — она без всякого сомнения, представлялась единственным средством спасти от голода рабочий класс и вообще всю городскую бедноту, средством хоть сколько-нибудь обуздать спекуляцию, средством, наконец, поддержать армию и спасти республику. Мелкобуржуазная стихия, психология интересов ремесла, мелкого хозяйства, душа торгового, промышленного или земельного «хозяйчика» были так сильны в якобинцах, что они долго (в революционные эпохи нескольких месяцев — очень долгий срок) не понимали, что все равно от этой меры им никак не уйти, если вообще им неудобно поставить под угрозу или погубить революцию. Максимум прошел и был введен в действие. При продолжающемся и ревниво охраняемом господстве принципа частной собственности, при далеко не разгромленной старой и при быстро растущей новой буржуазии, как земель-

ной, деревенской, так и городской; при упорном и сознательном сопротивлении капитала — закон о максимуме в последние три месяца 1793 г. и в первую половину 1794 г. поддерживался суровыми мерами, угрозой закона о подозрительных, наконец, угрозой гильотины. Но даже и эти меры оказывались местами довольно мало действенными: спекуляция ухитрялась, несмотря ни на что, брать барыши, прятать товары, перепродавать их из-под полы, в задних комнатах лавок; землевладельцы то скрывали урожай, то вывозили его на более отдаленные рынки, то не засевали земли в достаточном количестве и т. д. Тем не менее закон оставался законом, спекуляция вынуждена была действовать в подполье.

Рабочие, правда, жаловались на неисполнение закона, но раздражало их не столько это обстоятельство, сколько то, что и рабочий труд был таксирован и что эта часть закона о максимуме применялась и ограждалась как собственниками, так во многих местах в провинции и властями гораздо более ретиво и беспощадно, чем статьи, касавшиеся таксации продовольствия.

Сегодня землевладельцы требовали предоставления им рабочих рук, которые работали бы по таксе. Они грозили в противном случае невозможностью выполнить казенные подряды, а, следовательно, кормить Париж и армию; завтра — власти требовали, чтобы рабочие заводов, работающих на оборону, не смели и думать об увеличении платы сверх установленной таксы.

Достаточно сказать, что за четыре дня до 9 термидора в Париже шла речь о стачечном движении среди оружейников. Если буржуазия, если собственническая стихия была сильна и очень давала себя чувствовать уже зимою 1793/94 г.; если уже с весны 1794 г. она не столько отбивалась, сколько сама все чаще переходила в наступление, то после 9 термидора это движение пошло усиливающимся темпом. И не то чтобы все термидорианские победители этого сознательно желали, — этот пестрый конгломерат политических группировок и не мог иметь одинаковую социально-экономическую базу, стремиться к одной цели. Левые термидорианцы, постепенно убеждавшиеся в своем роковом для них самих ослеплении, конечно, нисколько не желали рассматривать 9 термидора как отказ от максимума. Правые термидорианцы не высказывались до поры до времени вполне определенно, а все выжидали и осматривались. И, разумеется, ни те, ни другие, если бы и хотели, не могли бы уже остановить тот процесс, который наметился еще до 9 термидора и стал все ускоряться с осени 1794 г.

Рабочая масса столицы раньше тех и других заметила, что, собственно, она 9 термидора и не выиграла, а проиграла, и что если было плохо при неполном и неудовлетворительном применении закона о максимуме, то совсем стало худо при совершенном его неисполнении; что спекуляция, действующая с опаской и оглядкой,

все же предпочтительнее спекуляции, орудующей совершенно открыто и безбоязненно.

Как же относилась парижская плебейская масса к закону о максимуме в занимающие нас восемь месяцев: 9 термидора (27 июля 1794 г.) — 12 жерминаля (1 апреля 1795 г.)? Ответ на этот вопрос не легко поддается вполне отчетливой и доказательной формулировке.

Почти на середину этого периода, а именно на декабрь (4 нивоза) 1794 г., падает закон об отмене максимума, так что с этого момента приходится говорить об отношении не столько к максимуму, сколько к идее максимума, к легенде о нем. Тут именно очень и очень нужно отличать реальный, исторический факт от легенды.

В основе, в идее, максимум, как он мыслился требовавшего его введения парижской массой весною, летом и ранней осенью 1793 г., был несомненно мерою, которая должна была приостановить очень выгодное для спекулянтов и финансистов, но крайне вредное для неимущих, обесценение ассигнаций; мерою, которая могла обеспечить малоимущей, живущей трудами рук своих городской массе доступность предметов первой необходимости; словом, мерою, которая являлась и могущественным подспорьем для революционного правительства и прежде всего спасением от недоедания и всякого рода лишений, уже начавших терзать неимущее население городов вообще и Парижа в частности. Без закона о максимуме, без реквизиций, как и без все новых эмиссий бумажных денег, нельзя было бы ни успешно вести войну с первой коалицией, ни подавить громадные контрреволюционные восстания, ни, наконец, извлечь из деревни все то, что нужно было для спасения городов от голодной смерти. Первая, самая насущная, непосредственная задача — прокормление громадной поднятой против внешних и внутренних врагов армии и обеспечение ее всем необходимым — не могла быть разрешена без максимума. Однако уже за несколько месяцев до 9 термидора стало все больше и больше выясняться, что если сил революционной диктатуры и угрозы террористической кары хватает на то, чтобы содержать армию, без которой республике и всем революционным завоеваниям грозила гибель, и на то, чтобы снабжать города хотя бы минимальным количеством предметов потребления, то никаких сил, средств и угроз недостаточно, чтобы обеспечить городскому населению правильное, законное, справедливое распределение этих скудных материальных благ. При существовании частной собственности длительное, последовательное и точное применение закона о максимуме оказалось невозможным. Богатые раздобывали для себя все или почти все, что хотели; неимущим сплошь да рядом доставались крохи. Не зная, как положить конец очевидной, вопиющей ежедневной несправедливости, как утихомирить возмущение голодающих рабочих, правительственные агенты кое-где (напри-

мер, Клод Жавог в Сент-Этьенне зимою и весною 1794 г.) просто прибегали к конфискации имущества состоятельных людей и к раздаче его, в той или иной форме, неимущим. Но, конечно, все эти отдельные мероприятия не были решением общего вопроса. Мало того, что богатые (и просто состоятельные) люди, в обход максимума, в обильном количестве доставали для личного своего потребления все то, что фактически было недоступно для рабочего класса, но они еще принялись спекулировать, торговать тайным образом по вольным ценам, искусственно задерживая в своих руках редкий товар, перевоза его тайком с места на место.

В то же время быстро шедшая тогда в Гору сельскохозяйственная буржуазия, крупные, средние, мелкие землевладельцы и просто нуждавшиеся в батраках крестьяне, словом, все те производители или, шире говоря, продавцы сельскохозяйственных ценностей, которые на каждом шагу всеми способами нарушали и обходили закон о максимуме, пользуясь им, по примеру городских торговцев, только для обострения спекуляции, — все они вдруг стали требовать от властей предоставления им наемной рабочей силы по установленной законом расценке. А в городах сотни и сотни рабочих в то же время реквизировались властями для работ во всех производствах, нужных для снабжения армии, причем оплата труда тоже определялась по максимуму... Все эти обстоятельства привели к тому, что и десяти месяцев не прошло со времени издания закона о максимуме, как он уже перестал возбуждать в рабочей среде сколько-нибудь широкое упование. И рабочие предместья, столь безучастно на первых порах встретившие падение и казнь Робеспьера, сначала как будто даже и не подумали привести это событие в связь с судьбами закона, от которого они уже перестали ждать улучшения своей участи.

Но постепенно, как упомянуто, стало выясняться, что есть для рабочих нечто гораздо худшее, чем даже плохое исполнение закона о максимуме, а именно — внезапная если не юридическая, то фактическая его отмена в той экономической обстановке, которая оказалась налицо после 9 термидора. Тяжело было часами простаивать в очередях у лавок и затем получать порченную провизию, потому что хорошая тайком и за ушестеренную цену уже ночью сбыта кому следует; но еще тяжелее было не получать ничего. Трудно было бороться со спекулянтами, часто тщетно грозя им судебными и административными карами, но еще труднее стало с ними разговаривать, когда они окончательно перестали бояться каких бы то ни было преследований. Только существование угрозы судебной и административной кое-как (правда, слабо и во многих местах мало реально) сдерживало спекулянтов. После 9 термидора спекуляция сразу приняла неслыханные размеры. В очень многих частях республики фактически закон о максимуме так же мало соблюдался

от 9 термидора до 4 нивоза, как и после этой последней даты, когда он был формально отменен Конвентом.

Не забудем, что налицо был большой и сильный класс, отчасти старая, отчасти *новая* буржуазия, новые капиталисты, которые, казалось, только и ждали 9 термидора, чтобы открыто выйти на арену и водворить желанное им царство «свободной конкуренции». Сдерживать их хоть сколько-нибудь возможно было только террором. Этот класс сразу почувствовал себя владыкою жизни. Уже с ранней осени 1794 г. он не переставал толкать термидорианское правительство на полную отмену максимума. Но термидорианцы были осторожны, они предпочитали ждать и, только удостоверившись окончательно, что максимум имеет сильных врагов, прекрасно знающих, чего они хотят, и не имеет по-настоящему убежденных и решительных защитников даже в тех слоях, которые в свое время, в 1793 г., так страстно требовали его введения, — только тогда термидорианский Конвент отменил этот закон.

Но как раз в то время, когда погибал и, наконец, погиб закон о максимуме, начала расти и шириться *легенда* о нем. Ведь отмена его (фактическая — с осени 1794 г., юридическая — зимою того же года) совпала в городах с жестоким и повсеместным обострением нужды. Голодающей городской (и прежде всего столичной плебейской) массе не могла, конечно, не прийти в голову весьма простая и наглядная истина: если закон о максимуме был слабой и часто недействительной уздой для спекулянтов, то отменить его, *ничем* не заменяя, не значит помочь голодающим, а значит лишь предоставить спекулянтам полнейшую свободу действий, избавить их от последних признаков каких бы то ни было помех и затруднений. Постепенно эта мысль стала, по-видимому, складываться еще и так: Робеспьер пытался по мере сил бороться за проведение в жизнь закона о максимуме, и нужно было энергично продолжать и усиливать деятельность в этом направлении, а вместо этого его преемники, воры, грабители и эксплуататоры, отдали народ на съедение и разграбление скупщикам, спекулянтам, стремящимся извести его голодом (*les assapareurs, les agioteurs, les affameurs du peuple* — как они тогда именовались). Это запоздалое признание закона о максимуме еще не сделалось общим лозунгом, но уже зимою 1794 г. и весной 1795 г. оно начало становиться довольно заметным психологическим фактором.

II

9 термидора в настроениях рабочей массы проявился разнбой; перед этим были стачки в мастерских, работающих на оборону, было подавление этих стачек, было известное разочарование и раздражение и по поводу нарушений закона о максимуме и по поводу стремления хозяев использовать этот закон *во вред* рабочим для

уменьшения необходимой (при их прожиточном минимуме) заработной платы; с другой стороны, рабочие предместья просто были захвачены врасплох: их никто ни о чем не предупредил, и появление Анрио, промчавшегося по Антуанскому предместью с криком: «Робеспьер арестован, мошенники и негодяи торжествуют!», в самом деле могло вызвать лишь полное недоумение и беспокойство, потому что никто ничего в тот момент не понял. А на другой день все уже было кончено¹.

Разумеется, термидорианцы очень хорошо понимали, насколько облегчено было их дело растерянностью или безучастностью рабочих предместий 9 и 10 термидора. Полиция с удовольствием отметила, что когда членов Коммуны (погибших за попытку или, точнее, за разговоры о необходимости отстоять Робеспьера) везли на казнь, рабочие издевались над ними, называли их «*foutus maximum*», срывая таким образом свое раздражение по поводу слишком низкой таксации заработной платы, утвержденной Парижской коммуной как раз 5 термидора, т. е. за четыре дня до переворота². Комитет общественного спасения поспешил признать, что рабочие основательно ропщут против этой таксации, и заявил, что он займется ее исправлением, чтобы привести заработную плату в соответствие с ценами на предметы первой необходимости. Конечно, такое обещание было необходимо, чтобы задобрить на первых порах рабочий класс столицы.

Очень характерно, что Коммуна знала, как ненавистна рабочим эта выгодная для работодателей, но разорительная для рабочего класса таксация труда.

В ночь с 9 на 10 термидора, в часы, предшествовавшие занятию Ратуши силами Конвента, Парижская коммуна составила воззвание к гражданам с призывом сопротивляться перевороту. Возмущаясь врагами Робеспьера, Коммуна упоминает в этом воззвании Барера; желая очернить его в глазах рабочих предместий, она подчеркивает, что именно он посодействовал фиксации заработной платы рабочих с целью «заставить их погибнуть от голода»³. Воззвание так и не увидело света, потому что Коммуна была арестована и казнена два дня спустя; рукописный же текст его был найден несколькими месяцами позже при ревизии опечатанных бумаг опального и казненного муниципалитета. Из этого текста мы ясно видим, что Парижская коммуна очень хорошо понимала, в какое невозможное положение ставит рабочего человека применение закона о максимуме к его заработной плате. Конечно, если бы данное воззвание дошло до предместий, рабочий люд мог бы задать два вопроса: во-первых, почему Парижская коммуна раньше не пробовала бороться против такой фиксации заработной платы, и, во-вторых, почему единственной областью, где закон о максимуме фактически и очень строго выполнялся, была именно область заработной

платы, тогда как землевладельцы, купцы, промышленники всячески нарушали тот же закон?

Мы тут не пишем истории конца максимума, а поэтому довольствуемся лишь несколькими характерными штрихами, выбирая притом лишь те из них, которые ближе относятся к нашей теме.

Всего два месяца прошло после казни Робеспьера, и уже мы видим немыслимую раньше смелость спекулянтов. Дело не в том, что нарушается закон о максимуме: это случалось и при Робеспьере. Но характерны размеры этих нарушений. Из Парижа вывозятся большие количества хлеба, народ на это жалуется, власти (в служебной переписке) признают, что факт указан правильно⁴. Другими словами: правительство с большими усилиями и затратами ввозит из провинции хлеб, чтобы кормить столицу по дешевой таксе, и этот же хлеб, вследствие темных проделок каких-то спекулянтов и вошедших с ними в соглашение властей, кем-то незаконно скупается и в «больших количествах» контрабандно вывозится из столицы обратно в провинцию, конечно, для продажи по «вольной цене».

Этот маневр вошел в практику и стал бытовым явлением. В течение осени и зимы 1794/95 г. исполнительные органы администрации не перестают на него указывать, отмечая (совершенно справедливо), что подобные злоупотребления уничтожают всякую возможность правильного расчета и планомерного удовлетворения потребностей столицы⁵. В течение долгих месяцев явно происходит какая-то сложная и грандиозная спекуляция, немыслимая без прямого пособничества властей, дающая неслыханные барыши одним и усиливающая хроническое голодание других.

По характерному наблюдению Фэна (впоследствии секретаря Наполеона и барона империи), после 9 термидора правительственная машина как-то так распустилась, полиция настолько утратила энергию, что пути сообщения вследствие этого стали небезопасны⁶. Этим он объясняет и затруднения с продовольственными транспортом. Объяснение это весьма расплывчато и в такой общей форме просто неверно. Когда нужно было без суда ссылать в Кайенну, на «сухую гильотину», или гильотинировать по приговору военного суда, или расстреливать в ходе гражданской войны, — термидорианцы никогда не обнаруживали ни малейшего отсутствия энергии; напротив, выявлялись большие ее запасы. Спекулянты среди бела дня сворачивали транспорты хлеба с парижской дороги на другие пути не потому, что у полиции не хватало энергии, а потому, что и эта полиция, и гражданские власти, и армейские комиссии сплошь да рядом были куплены тою же ширящейся спекулянтской стихией, в руках которой были и Тальены, и Фрероны, и Роверы, и Бурдоны, и все комитеты.

Жюллиан, один из вождей «золотой молодежи», ярый враг Робеспьера, вспоминая о времени после 9 термидора, тоже отмечает

вялость и внезапно наступившую «слабость» правительственного аппарата, и прежде всего в области борьбы за продовольствие Парижа. «Безнаказанная алчность предпринимателей» доходила, в самом деле, до неслыханных размеров: через тот или иной департамент проходит обоз с продовольствием, направляясь в Париж, но до места назначения он не доходит, потому что местные спекулянты, очевидно, столкнувшись с конвоирами, овладевают этой казенной кладью и обращают ее в свою пользу⁷. При Робеспьере подобные операции могли повести прямым путем к гильотине; после 9 термидора они сходили с рук вполне безнаказанно.

Правда, Комитет общественного спасения после сбора урожая 1794 г., в конце августа, постановил, что собственники и арендаторы земли обязаны вывозить на рынок определенную часть собранного зерна, определяемую местными властями в соответствии с общим количеством хлеба, принадлежащего данному лицу, с таким расчетом, чтобы рынки были обеспечены хлебом в течение целого года. Но тут же была сделана оговорка, сильно смягчавшая это требование в интересах землевладельцев: они вольны были сами выбирать тот рынок, куда хотят представить причитающуюся с них долю зерна. Другими словами: они могут выбирать тот, хотя бы далекий от них, рынок, где есть надежда продать подороже. Разумеется, при таком порядке, рынки наиболее бедных районов могли остаться совсем худо снабженными⁸.

Между прочим, тогда же стали поступать в Конвент усиленно окрашенные в черный цвет донесения местных властей о состоянии урожая, о положении землевладельцев и т. п. Комиссия торговли и снабжения предупреждала Конвент, что в этих донесениях много неправды и преувеличений: земельные собственники лгали и преувеличивали бедственность своего положения со специальной целью избавиться от реквизиций, а местная администрация, «по слабости», подкрепляла эти лживые жалобы своим авторитетом и тем самым вводила Конвент в заблуждение⁹. Конечно, дело было не в «слабости», а в сознательном потворстве местных властей интересам землевладельцев.

Нужно при этом сказать, что не центр, а именно местные органы проявляли больше всего попустительства и способствовали развалу и обесилению закона о максимуме. «Бюро», заведовавшее максимумом, в первые времена после 9 термидора — и в термидоре, и в фрюктидоре, и в вандемьере, и даже в брюмере, — напротив, продолжает настаивать на необходимости исполнения этого, как оно выражается, «спасительного закона» (*cette loi salubre*)¹⁰, строго выговаривает местным властям за посползновения от него отступить¹¹, готово преследовать спекулянтов, которые частным образом скупают у землевладельцев зерно, вследствие чего рынок оказывается пуст, и даже местных властей, попустительствующих спекулян-

там и облегчающих эти злоупотребления¹², следит также и за тем, чтобы фабриканты получали нужное им сырье например шерсть, по ценам, установленным максимумом¹³, — неуклонно требуя вместе с тем, чтобы и сами фабриканты сукон не плутовали, а продавали свой товар по максимуму, причем, в случае их уклонения от закона, местным властям предписывается проявлять величайшую настойчивость в борьбе с этим явлением¹⁴. Часто Бюро грозит не только нарушителям закона, но и должностным лицам, которые недостаточно энергично борются с этими последними, причем сулит им суровые наказания, прямо поминая о карах, установленных в самом разгаре революционного террора¹⁵.

Когда местные власти пытаются, действуя в пользу «фабрикантов», произвести нажим на закон, Бюро их останавливает, требуя точного исполнения закона. Так, еще до термидорианского переворота Комитет общественного спасения издал (22 мессидора)¹⁶ постановление, одним из пунктов которого (§ 8) повышалась расценка некоторых тканей. Кое-где местные власти под прямым воздействием «фабрикантов» пытались подвести под этот пункт также и такие ткани, которые там вовсе не были обозначены, — но Бюро с этой тенденцией боролось. И, например, администраторы округа Бар-сюр-Орнен получили выговор за подобное поползновение. Выговор, правда, был облечен в мягкую форму, так как речь шла только о *проекте* нового постановления, нарушающего постановление 22 мессидора, но, во всяком случае, выговор был сделан, и проект не приведен в исполнение¹⁷. Мало того, рекомендовалось *слепое* повиновение закону о максимуме: «вам поручено исполнение закона, и самое верное средство его поддержать — это слепо ему повиноваться (*c'est de lui obéir aveuglement*)». Замечу, что в данном случае местные власти пытались не только незаконно повысить расценку некоторых тканей, но и освободить от обязанности повиноваться строгим контрольным правилам, установленным 22 мессидора, тех ткачей, которые работают «за свой счет» и по заказу частных лиц. Эта часть проекта тоже не была одобрена Бюро¹⁸. Речь тут шла о ткачах, которым заказчик доставляет пряжу для дальнейшей переработки, — как это явствует из бумаги Бюро от того же числа, отправленной национальному агенту указанного округа Бар-сюр-Орнен¹⁹.

Цитированные два документа вполне ясно рисуют дело: купцы и скупщики, дававшие заказы кустарям и заинтересованные в том, чтобы сбывать явно худшие ткани по ценам, установленным за ткани лучшего качества, желали избавить работавших на них кустарей (точнее, самих себя) от контроля качества материй, который именно и был установлен 22 мессидора, чтобы положить конец этому мошенническому обходу закона о максимуме. Мы видим, что еще в брюмере III года Бюро отказывается узаконить подобные пополз-

новения. Но вся эта бюрократическая бумажная строгость не приводит к цели: со всех сторон в Бюро стекаются сведения о повсеместном и ежедневном нарушении закона. Вдруг прорываются нотки, которые довольно недвусмысленно показывают, как обстояло дело — не на бумаге, а в действительности — в эти последние времена существования максимума: 28 брюмера Бюро вынуждено отвечать на запрос национального агента округа Сомюр — составлять ли протоколы о нарушении закона о максимуме? Характерен не только запрос, но и то, что он сделан 8 фрюктидора, а отвечают на него 28 брюмера, т. е. спустя более 2¹/₂ месяцев. Любопытно, что Бюро, по-видимому, нисколько не удивляется самому вопросу. «Несомненно, что национальные агенты коммун могут составлять протоколы, дабы констатировать нарушение закона о максимуме, это их истинный долг» и т. д.²⁰ Столь же вяло в других случаях отмечается «презрение» к закону о максимуме со стороны населения и выражается «удивление» по поводу его безнаказанного нарушения, а также по поводу того, что подобный факт «ускользает» от наблюдения местных властей²¹.

Уже начиная с фримера, в ответ на просьбы подчиненных о точных решениях и властных инструкциях, Бюро максимума стало отделяться загадками в стиле Пифии. Агент с места доносит о своем твердом намерении исполнять и заставлять других исполнять закон о максимуме, не скрывая, однако, трудностей, на которые он, очевидно, при этом наталкивается (*effets fâcheux des efforts*). А начальство отвечает на это донесение так: «Неприятное положение, в котором ты находишься, вероятно, не долго продлится. Национальный конвент декретом от 17 фримера препроводил соединенным комитетами общественного спасения, торговли, законодательства и финансов соображения, предложенные для оживления торговли республики, которую (торговлю) парализовали злоупотребления законом о максимуме»²². Что мог вывести из этой намеренно неясной «дипломатической» ноты чиновник, который вел на местах и без того непосильную борьбу с землевладельцами, купцами, барышниками и спекулянтами? Приведенная отписка всего лишь образчик, характерный для самых последних времен максимума.

Правда, и во фримере попадаются «строгие» бумаги, — например, по поводу нарушений все того же постановления от 22 месидора, — с требованием «удвоить усердие и деятельность» в преследовании виновных²³, но все это, при сопоставлении с другими фактами, звучит неубедительно. Насколько само Бюро в это время изверилось в фактическом исполнении закона о максимуме, явствует из пессимистического *общего* его заключения в письме к администраторам округа Маренн от 26 фримера (т. е. за восемь дней до отмены максимума): «Мы согласны с вами, что если бы этот закон одинаково исполнялся всею республикой, то народ испы-

тывал бы меньше затруднений в продовольствии. Только честные люди страдают от закона о максимуме, потому что они ему подчиняются, тогда как мошенники открыто его нарушают»²⁴. И Бюро советует ждать благих результатов от подготовляемых Конвентом мер к прекращению «стольких злоупотреблений» и к водворению «изобилия» в республике²⁵. (Уже 17 фримера Конвент поручил своим комитетам выработать меры к оживлению торговли и пр., т. е. к отмене максимума.) «Злоупотребления», по словам Бюро, происходят «от неисполнения (*l'inobservation*)» закона о максимуме почти во всех округах²⁶.

Еще в середине брюмера (в ноябре 1794 г.) Робер Лендэ пробовал провести ряд целесообразных, по его мнению, изменений в законе о максимуме: он предвидел тяжелые последствия в случае, если этот закон будет сразу и без всяких замен уничтожен. Но большинство Конвента не могло сочувствовать Лендэ, когда он говорил о возможном росте ажиотажа, о спекуляциях, о жестоких затруднениях, грозящих беднякам при внезапном введении «свободы торговли»: ведь это большинство своими интересами и симпатиями было гораздо более связано именно с теми социальными слоями, которые могли нажиться при свободе торговли, чем с бедняками, которым угрожали недоступные цены на продукты первой необходимости.

4 нивоза (24 декабря 1794 г.) закон о максимуме был отменен. Правда, реквизиции для снабжения армии, Парижа и тех городов, которые не могли прокормиться, остались в силе, но все было так устроено, что, конечно, интересы собственников и спекулянтов стояли на первом плане, а интересы потребителя — на втором. Так, например, Буасси д'Англа, прибравший к рукам продовольственное дело, провел декрет, в силу которого «земледельцы» (т. е. собственники зерна) имели право хранить у себя не подлежащее реквизициям количество хлеба, необходимое им, чтобы прокормиться с семьей в течение шести месяцев. Робер Лендэ поспешил обратить внимание Буасси д'Англа на все злоупотребления, которые могут отсюда проистечь, и тот в конце концов сдался. Однако на практике взяточники и спекулянты совокупными усилиями и под всевозможными предлогами продолжали успешно обходить установленные законом реквизиции.

Когда Конвент совсем потерял свой престиж в глазах масс, возник и упорно держался слух, что самая отмена максимума была огромной спекуляцией, на которой нажились депутаты.

В парижской Национальной библиотеке имеется в высшей степени характерная листовка, изданная в Вандее в сентябре 1795 г. Это пародийный эдикт знаменитого вождя ванзейцев, Шаретта, изданный якобы им «в пользу спекулянтов, скупщиков, мошенников, обирал и разорителей народного достояния». В этом памфлете мнимый Шаретт рекомендует своим сторонникам говорить, что

Конвент есть корень всего существующего зла: «если он уничтожил максимум, то только потому, что он скупил все по законной таксе и захотел все перепродать во сто и во много раз дороже»²⁷. Ясно, что подобные слухи существовали и крепко держались, если, спустя девять месяцев после отмены максимума, их еще приходилось опровергать путем подобных манифестов.

За восемь месяцев, отделяющих 9 термидора от 12 жерминаля, рабочие предместья, по-видимому, передумали много горьких дум относительно максимума и его отмены. Это явствует хотя бы из той ярой полемики против максимума, которой предался Буасси д'Англа в самый день жерминальского восстания. При этом он уже вполне откровенно подчеркивал, что после 9 термидора закон о максимуме был «парализован», хотя и не сразу отменен²⁸. Зная, конечно, что парижская голодающая масса после опыта восьми месяцев смотрит на максимум не так, как до термидорианского переворота, Буасси д'Англа уже не боится выступить против ненавистного закона; что до реквизиций, то они являются, по его мнению, мерою, достойной восточных деспотов, но несовместимой с «мудрым и кротким правлением».

Речь эта была сказана как раз перед вторжением народной массы в Конвент, в исторический день 12 жерминаля. Конечно, гневные доводы *против* максимума в устах Буасси д'Англа могли только усилить в рабочих предместьях начавшуюся вскоре после 9 термидора реакцию в *пользу* максимума. Ведь Буасси д'Англа именно и был одним из типичных представителей, разбогатевших на чужом голоде социальных слоев...

А между этим днем *первого* (жерминальского) восстания и *вторым* восстанием (прериальским) в лицо парижскому народу была брошена кровавая, полная яда и мстительного торжества, насмешка, напомнившая о многом, что было так легко и без сопротивления потеряно.

Когда в одиннадцатом часу утра 18 флореаля (7 мая 1795 г.) везли на казнь Фукье-Тенвиля, государственного обвинителя робеспьеровских времен, и бежавшая за телегою толпа осыпала его неистовыми ругательствами и проклятиями, — он не молчал. По показанию очевидцев, бледный, с горящими глазами, скрученный веревками и привязанный к телеге человек отвечал толпе. Правительственный «Moniteur» туманно отмечает, что Фукье-Тенвиль отвечал «самыми страшными предсказаниями»²⁹. Из других показаний мы знаем, что он улыбался и кричал народу: «ступайте за хлебом» «*allez chercher du pain*». Его гильотинировали последним по порядку из шестнадцати человек, казненных в Париже в это утро, и палач, по яростному требованию толпы, схватил за волосы его отрубленную голову и показал ее на все четыре стороны. Но насмешливый окрик Фукье-Тенвиля остался в памяти...

III

Плебейским предместьям столицы, столько раз в течение шести лет, по популярному тогда выражению, «спасавшим революцию», все еще не верилось, что они спасали ее для кого-то другого, что исторический процесс оборачивался не так, как, казалось бы, можно было рассчитывать, и что, по оригинальному выражению одного современника (Левассера, депутата в Конвенте от департамента Сарты), «народу» приходится «уйти в отставку». Эти слова, в психологии Левассера, именно и осмысливали то, что произошло в жерминале и прериае.

Но, пока не были проиграны эти две битвы, уходить «в отставку», т. е. на голод и на безропотное подчинение, казалось невозможным. Люди, перед которыми трепетал сначала королевский двор, потом трепетали Учредительное и Законодательное собрания и сам Конвент, гроза Европы, — эти люди к весне 1795 г. стали понимать, *кто* восторжествовал 9 термидора, *кто* уничтожил максимум, ничего взамен не давая и тем ухудшая положение, *кто* в деревне прячет хлеб, а в городе им спекулирует.

Статистика 1789 г. хорошо знала противоположение *ста тысяч* или *трехсот тысяч* и т. д. привилегированных «всему народу» или «25 миллионам французов». Теперь, зимою 1794/95 г., уже начали кое-где поговаривать о необходимости истребить «миллион купцов», которые доводят до голода «25 миллионов людей»³⁰. Это весьма интересное знамение времени.

В том-то и дело, что именно в это время голодающее население плебейских предместий явственно увидело перед собой давно уже перед ним стоявшего могучего и деятельного противника. Задолго до 9 термидора этот противник пробовал влиять на события, придавая им ту или иную окраску. После 9 термидора авансцена политической жизни с первых же месяцев оказалась прочно занятой ставленниками той же враждебной рабочему классу стихии, к каким бы разновидностям политической мысли они ни принадлежали, какой бы тактики ни придерживались.

Над экономической историей французской буржуазии в эпоху революции можно и должно работать, потому что это, в сущности, один из центральных элементов всей новой французской истории вообще. Конечно, нельзя написать полное, исчерпывающее исследование на эту тему на основании одних только материалов Национального архива (хотя даже и эти скудные — по сравнению с законными научными запросами — материалы тоже почти не подвергались обследованию); нельзя разрешить эту научную задачу, даже прибавив к этим материалам обильнейшую, довольно хаотическую, документацию, разбросанную по департаментским, муниципальным, коммунальным архивам и по архивам торговых палат. Задача так обширна, она представляет такие характерные, совер-

шенно своеобразные трудности, что требует, быть может, усилий целого поколения исследователей, предварительного появления ряда монографий, посвященных истории больших движимых и недвижимых состояний во Франции, систематической истории возникновения и развития отдельных капиталистических предприятий, фабрик, банков, сельскохозяйственных и винодельческих фирм и т. д. К слову сказать, работая над историей рабочего класса эпохи французской революции, я имел неоднократно случай знакомиться с некоторыми из таких частных, «семейных», по существу, архивов; правда, они не дали мне ничего нового и важного по специально интересовавшему меня вопросу о рабочих, но зато я убедился, что они дают очень много для истории *капитала*. Во всяком случае эта экономическая история французской буржуазии в эпоху революции пока только начинает разрабатываться. Но, изучая историю послетермидорианской эпохи, мы, даже не зная составных частей и *эволюции* этих составных частей французского капитала, не пытаюсь еще в строгой точности установить отдельные категории собственной Франции того времени, должны безусловно признать *наличие* в только что вышедшем из революционных бурь обществе очень серьезной, очень заметной социально-политической силы собственнических классов.

Эта сила отчетливо знала в 1794 г., зачем ей нужно покончить с максимумом, — как знала, еще при терроре, каким образом отчасти повернуть максимум в свою пользу, а отчасти его саботировать; эта сила в 1795 г. оказалась достаточной, чтобы в жерминале и прериале победить опасность слева, шедшую из рабочих предметов, 13 вандемьера — опасность справа, поднимавшуюся со стороны реставраторов старого режима — роялистов; эта сила в 1796 г. позволила буржуазной республике покончить с заговором Бабефа, и она же, в 1799 г., позволила генералу Бонапарту столь же легко покончить с республикой.

Для нашей непосредственной темы важно пока отметить *одну* черту. Новая, послереволюционная французская буржуазия переживала в рассматриваемый момент период быстрого роста и истинно хищнического накопления. Ажиотаж, игра на понижение ассигнаций, скупка и перепродажа земель, чуть ли не официально терпимые мошенничества с казенными поставками на армию, на флот, на снабжение Парижа, скупка, припрятывание и незаконные перемещения продовольственных припасов, — вот на каких дрожжах буйно росла и ширилась новая социальная сила. Конечно, были у нее и другие питательные корни и живительные соки, но нам тут нужно заметить именно указанную особенность.

Это был золотой век поставщиков, — вспоминает современник, — и из дальнейших его пояснений видно, к каким проделкам прибегали эти «поставщики», особенно наживавшиеся на отравле-

нии солдат всякой гнилью. Роскошные дворцы, изысканные обеды, балы, — иногда, правда, и тюрьма, но тоже не прежняя грозная тюрьма робеспьеровских времен, откуда верная дорога на гильотину, а другая, гораздо более веселая, где можно устроиться с большими удобствами, даже с роскошью, тем более что ведь это ненадолго: вот бытовая обстановка этих хищников. Официальной биржи еще не было, но биржа «частная» процветала, — и крайне сомнительные сделки превращали сегодняшнего парикмахера в завтрашнего миллионера, тогда как вчерашний миллионер в один день спускал все, что успел наворовать за время революции³¹. Спекулировали все, до светских дам включительно. Негласная биржа орудовала в Пале-Рояле, где происходили самые крупные спекулянтские операции.

«Кто главные деятели ажиотажа?» — вопрошает одна анонимная брошюра 1795 г. и пересчитывает те категории населения, откуда выходят эти дельцы (*les principaux agioteurs*): «бывшие финансисты», которые вложили свои капиталы в товары и играют то на понижение, то на повышение, покупая и продавая эти товары; бывшие судебские чиновники (*anciens officiers de judicature*), бывшие банкиры, менялы, маклеры (*agens de change et courtiers*); служащие в разных учреждениях, которые, по окончании служебных часов, «употребляют остаток дня на это бесчестное дело»; рантье, которые уже не могут жить на прежние доходы и ищут подсобных заработков «в разбое, вместо того, чтобы искать его в труде»; разные клерки нотариусов и т. п.; «слуги и рабочие, которых лень заставляет обращаться к гнусным спекуляциям», и т. д. Но горестнее всего анонимному автору признать, что даже «земледельцы и мельники», непосредственные производители хлеба, тоже принимают *личное* участие в преступной спекуляции, «постоянно переходя от своих работ в Пале-Рояль, чтобы там придумывать средства морить голодом сограждан»³².

Напомню, кстати, что последнее показание подтверждается и другими источниками.

Корреспонденты, тайно сносившиеся с эмигрантом Малле-дю-Паном, доносили ему, что деревня, продающая продукты по вздутым ценам, богатеет и в общем довольна существующим режимом; собственническая деревня наживается на голодающих городах³³. При Робеспьере она была раздавлена, а теперь дышит свободно и получает «сказочные барыши». Зажиточные крестьяне предаются торговым расчетам, ажиотажу, приобретают дорогую мебель, наперерыв скупают конфискованные у эмигрантов земли³⁴. Начавшегося раскола крестьянства роялисты не замечали.

Как мы видим, и в этом свидетельстве подчеркивается тот факт, что деревенские собственники в 1795 г. непосредственно и систематически занимались спекуляциями.

Франция богата, утверждает автор цитированной выше брошюры, но ее богатства сосредоточились ныне «в салонах, в роялистских

будуарах, в темных и недоступных кабинетах банкиров и капиталистов»³⁵. Подобные жалобы очень характерны для 1795 г.: обыватель, мелкобуржуазный потребитель, чуял какую-то таинственную, внезапно, как ему иногда казалось, возникшую и сразу необычайно окрепшую силу, вертящую Конвентом и правительством, но не выступающую с открытым забралом, а скрывающуюся где-то в недоступных недрах.

И на глазах у всех этой таинственной силе позволялось ни с чем не считаться: власти как-то вяло, растерянно, спустя рукава относились к самым неприкрытым, к самым откровенным грабительским деяниям.

Эмиссии ассигнаций следовали во все ускоряющемся темпе, и каждая из них обогащала дельцов, близких и правительству, каждая ставила жертвы спекуляции во все более отчаянное положение.

Вот как рисуется финансовое положение или, точнее, кризис ассигнаций в интересующие нас весенние месяцы 1795 г. по докладу, сделанному несколько месяцев спустя в Совете старейшин членом этого Совета Лекулье-Кантле на основании данных правительственных комитетов, сообщенных Конвенту в жерминале Жоанно и 29 прериала Ребелем. В жерминале III (1795) года ассигнаций было в обращении на общую сумму несколько больше семи с половиною миллиардов ливров; через два месяца, в конце прериала того же года, их было почти *вдвое* больше: на общую сумму в *тринадцать*, миллиардов. В жерминале еще считалось, что сумма от шести до семи ливров ассигнациями равноценна одному ливру звонкой монетой; в прериале за один ливр звонкой монетой уже давали *пятьдесят* ливров ассигнациями: обесценение шло еще быстрее, чем эмиссии³⁶. Не трудно себе представить, как легко было при такой финансовой неустойчивости и запутанности положения спекулировать на товарах, на *реальной* покупательной силе непрерывно выпускаемых бумажных денег. Тут даже указанное соотношение — один к пятидесяти — часто оказывалось слишком «оптимистически» высчитанным.

Но зато эти щедрые эмиссии позволяли правительственным комитетам не скупиться на выдачу всякого рода субсидий и авансов туче дельцов и спекулянтов, суетившихся около Конвента и его руководящих деятелей. Правительство давало громадные подряды на снабжение армии и столицы продовольствием; на выполнение этих-то подрядов и выдавались часто крупные казенные субсидии. Так, например, в первых числах июня 1795 г. руанские негоцианты Фонтенуа и Левассер получили поручение закупить для казны за границу сто тысяч квинталов хлеба в зерне. На эту операцию им была выдана вперед сумма в десять миллионов ливров³⁷. Конечно, даже при умеренном казнокрадстве один подобный подряд мог обогатить торговую фирму. Громадная финансовая сила, колоссаль-

ное биржевое влияние сосредоточивались в правительственных комитетах.

Современники видели всю эту пляску миллионов, этот буйно растущий ажиотаж, это открытое взяточничество, хищничество и казнокрадство, дружно объединившиеся в особенности на грабеже и мошенничествах с казенными поставками. Но в 1795 г. об этих явлениях говорилось только очень робко, редко, неумело и анонимно. В то, что припасов нет, верили очень мало, — это надо запомнить; голод объясняли именно спекуляцией и сложными, огромными, разносторонними, если можно так выразиться, мошенничествами³⁸. Некоторые представители тех слоев буржуазии, которые считали себя обойденными, причисляли себя к эксплуатируемым, объясняли именно отсутствием в Париже «большой» торговли и крупной промышленной жизни легкость, с какой спекулянты, путем обманов, распространения панических слухов и т. п., могли грабить как государство, так и частного потребителя³⁹. Разорительные для казны подряды, иногда в один месяц обогащавшие целую шайку поставщиков и спекулянтов, — вот явление, заметно выделявшееся среди прочих в процессе создания и роста новой буржуазии.

По свидетельству современников, в эти первые времена после 9 термидора появилась роскошь, какой не видели с начала революции. Если мы вчитаемся, например, в показания Тибодо, то мы увидим, что он говорит не о *появлении* богатства, а лишь о том, что обнаружилась его внешняя сторона: обеды, балы, концерты, праздники, пышные охоты и т. д. А богатство уже *существовало*, оно только не смело прежде проявляться так открыто. Кто же были эти осмелевшие богачи? «Банкиры, поставщики и дельцы»⁴⁰. Это была, очевидно, новая буржуазия, выросшая и окрепшая уже в годы революции, аферисты, финансисты, скупщики земель, биржевые агенты. Ведь если реквизиции и закон о максимуме разоряли одних, то других именно эти меры обогащали: на организованном обходе этих мер было построено их богатство.

Среди этой новой буржуазии были очень заметны и представители дореволюционного торгово-промышленного мира. Блиставший в салоне г-жи Тальен финансист, поставщик и спекулянт Уввар был сыном бумажного фабриканта: в 1789—1794 гг. он умудрился успешными спекуляциями составить себе большое состояние и в эти (1795—1796) годы делал огромные дела. Он сам рассказывает, например, что именно в это время он, в компании с другим капиталистом, скупил в Бордо партию колониальных продуктов; и эта операция через три месяца дала на одну его личную долю прибыли больше полумиллиона франков *золотом*. Не забудем при этом, что Габриэль Уввар сообщает в своих мемуарах лишь о ненаказуемых уголовно финансовых своих успехах, о прочих же предпочитает молчать⁴¹. Через Тальена и особенно через Барраса Уввар прибрал

к рукам огромные поставки на флот и отчасти на армию. Этот хищник, который в 1798 г. мог дать займы Директории десять миллионов франков золотом, очень характерен для своего времени.

В своем роскошно отделанном замке Ренси и в других своих дворцах Уврар устраивал пиршества и празднества, которые мало уступали былым торжествам версальского двора. Это поколение французской капиталистической буржуазии отличалось большим размахом, проявляло какую-то ширь и безудержность, вовсе не свойственные ни их предшественникам, ни их наследникам, — ни предреволюционной буржуазии, ни банкирам и купцам, лавочникам и биржевикам времен реставрации или Луи-Филиппа. Некоторые бытовые черты тех людей, о которых у нас идет речь, напоминают не столько умеренные и аккуратные буржуазные фигуры, вроде героев Скриба или Бальзака, сколько замоскворецких самодуров Островского. Взять хотя бы блиставшего в те же годы и в тех же салонах, что и Уврар, впоследствии его компаньона и такого же, как и он, хищника, — Сегена. Этот Сеген выдумал какой-то новый способ дубления кожи, который должен был дать французской армии несокрушимые сапоги и тем самым «способствовать победе республики над европейскими тиранами». Конвент, недолго думая, приказал (в январе 1795 г.) реквизировать кожу и предоставить ее Сегену, причем дал ему для этого нового производства два поместья. Из дубления по новому способу ничего не вышло, сапоги разваливались, но Сеген продолжал действовать и богатеть, уже нажив на этих сапогах миллионы и перейдя к новым спекуляциям. Так же, как и Уврар, он швырял деньгами, оригинальничал, безобразничал, катался по Парижу в роскошном экипаже, но одетый в халат, устраивал великолепные приемы и выходил к гостям в домашних туфлях; задавал в своем поместье (в Жуи) ночные празднества с фейерверками и распоряжался, чтобы искры от фейерверка летели в лицо гостям; те в панике разбегались и при этом падали в ямы, прикрытые сверху листьями⁴². Его дом был полон редчайших картин, убран с неслыханной роскошью; в конюшнях стояло сорок лошадей; он собирал драгоценнейшие скрипки Страдивариуса и, по-видимому, просто не знал, куда и на что выбрасывать деньги. Все это проделывалось на глазах люто голодавшей столичной бедноты.

Потребности Парижа должны были удовлетворяться в первую голову, и когда, например, в морские порты приходили грузы риса, они прежде всего направлялись в столицу; если другим городам давалось разрешение на то или иное количество драгоценного продукта, то как бы в качестве награды за исправное снабжение Парижа хлебом и другими продуктами⁴³.

После 9 термидора была казнена наиболее активная и революционная часть муниципалитета. В просторечии этот погибший на гильотине сектор Коммуны стал распространительно именовать-

ся заговорщической коммуной (*la Commune conspiratrice*). Казнь ее, как определенно говорят источники, была истолкована именно в том духе, что можно отныне не исполнять изданных ею постановлений относительно вывоза хлеба из города⁴⁴. К первому месидора в столице было накоплено запасов, которых должно было хватить на четыре месяца. Но немедленно после 9 термидора надзор ослабел, постановления Коммуны перестали исполняться, кары за явное нарушение закона о максимуме прекратились, и вследствие всего этого стала наблюдаться тревожно усиливавшаяся утечка хлеба из Парижа. Учреждения, специально соприкасавшиеся с вопросом о снабжении столицы, напрасно пытались время от времени побудить правительственную власть к проявлению строгости и применению репрессий.

Но в эти первые месяцы после термидора мудрено было ждать от правительства сколько-нибудь выдержанной линии поведения. Пестрота и разноречивость классовых интересов, с которыми должны были считаться термидорианские победители, неизбежно породили бы разноречивость и несогласованность в их политике даже в том случае, если бы они сами не представляли собою (особенно на первых порах) очень разнородной группы, наскоро сколоченной для специального политического задания и теперь, после своей победы, после гибели Робеспьера, оказавшейся лицом к лицу с неожиданно сложной социально-экономической обстановкой. Ссориться с торговой буржуазией? Со спекулянтами? С финансовой мощью негласной биржи и улицы Вивьен (где сосредоточивались банки)? И, значит, с Национальной гвардией «центральных» буржуазных секций? Давить городскую буржуазию и одновременно деревенских собственников, заставляя этих последних, если нужно, строжайшими мерами не саботировать сбора урожая и других сельскохозяйственных работ? На это термидорианцы не шли. А без этого, — как кормить Париж, где нужно считаться с многочисленной потребительской беднотой, а в частности, с обширным, скученным в определенных кварталах, рабочим населением? Наши источники живо отражают эти колебания правительственной мысли поздней осенью 1794 г.⁴⁵

Таким-то образом и вышло, что накопленный на четыре месяца запас начал быстро таять, новый реквизируемый хлеб стал поступать после 9 термидора гораздо более туго, чем до той поры, — а спекулянты стали распродавать незаконно вывозимый из столицы хлеб уже не по соседству, а в дальних местах, очевидно, убедившись, что перевозка более безопасна, чем можно было думать, и что, следовательно, нужно считаться лишь с тем, где сейчас цены на хлеб повыше. Образовалась специальная и очень прибыльная отрасль торговли мошеннически вывезенным столичным хлебом⁴⁶.

Выпуская из Парижа, явно вопреки закону, большие количества хлеба, вывозимые всевозможными спекулянтами, власти в то же

время вдруг принимались сурово преследовать всякого, кто выходил за городскую черту, захватив с собою хлеба для собственного пропитания. Комитет общественного спасения, правда, пытался оградить жителей от подобного произвола, однако при свете других источников все эти слишком ретивые преследования за вынесенную из города краюху хлеба кажутся какой-то комедией, именно затем и разыгрывавшейся, чтобы под личиной этой строгости покровительствовать подлинному спекулянтскому вывозу хлеба из столицы⁴⁷.

С транспортными средствами тоже не ладилось. В портах Остенде, в Дюнкерке, в Кале, в Гавре лежали мешки с зерном, предназначенные для Парижа, — а доставить их в Париж оказывалось очень затруднительно. Всю осень, особенно весь брюмер, шла оживленнейшая бюрократическая переписка, но толка не выходило⁴⁸. Какая-то пружина была сломана.

Вот образчик того, что происходило: в течение вандемьера и брюмера в Амьен прибыло 61 000 квинталов зерна, предназначенного для Парижа; попало же в столицу всего 7000 квинталов. Местные власти спорили, утверждали, будто они получили всего 37 503 квинтала, из которых отправили в Париж 24 321 квинтал, но и они признавали, значит, огромную «утечку» хлеба. Прибавлю, что более чем вероятно правдивость именно первых двух цифр (61 000 и 7000)⁴⁹.

И, тем не менее, у нас есть свидетельство, что *полное* исчезновение хлеба не грозило Парижу даже накануне 12 жерминаля и что хлебные склады были полны⁵⁰. Но выдаваемый паек оставался, конечно, по-прежнему убогим.

Умный старый циник Калонн неоднократно с раздражением доказывал своим соратникам, эмигрантам-роялистам, что напрасно тешить себя надеждой на голод во Франции. Он и европейским монархам советовал не верить в эту иллюзию. Он считал «абсурдом» и «химерой» умозаключать от стесненного продовольственного положения столицы к отсутствию хлеба во всей стране вообще, и, как человек реально мыслящий, указывал, что революционными мерами можно добыть хлеб быстрее, чем обыкновенными, общепринятыми. По его убеждению, во Франции есть и хлеб, и звонкая монета, — и только вследствие неумелости властей собственники ухитряются припрятывать и то и другое⁵¹. Калонн ошибался: дело было не только и не столько в «неумелости», сколько в том, что правительство, всецело опиравшееся на собственнические классы, не могло и не хотело применять к ним эти «революционные меры».

В заседании 28 вантоза, т. е. за две недели до событий 12 жерминаля, Буасси д'Англа сообщил, что из 636 тысяч человек, составляющих население Парижа, 324 тысячи получили за день 27 вантоза по полфунта хлеба, а 312 тысяч — по одному фунту. Он осторожно

говорит не о ежедневных выдачах, а о выдаче одного определенно-го дня, зная прекрасно, что таких благополучных дней было очень немного. Но фактически Буасси был, конечно, прав, указывая, что парижане в лучшем положении, чем жители других городов: они не только имеют хлеб чаще и в большем количестве, чем другие, — так как правительство больше всего озабочено именно прокормлением столицы, — но и платят за него гораздо дешевле: по 3 су фунт, тогда как *всюду* он стоит свыше 20 су. Буасси д'Англа должен был бы прибавить, во-первых, что *всюду* — означает города, так как у крестьян в подавляющем большинстве департаментов хлеба сколько угодно, — а во-вторых, что, говоря о цене, он имеет в виду казенные пайки, так как в вольной продаже в том же Париже фунт хлеба стоил в эту бедственную весну не 3 су, а 7—8—10—15 и даже более *франков*, и спекуляция непрерывно повышала эти цены.

В течение всей зимы и всей весны 1795 г. мы встречаем в целом ряде полицейских докладов одно и то же повторяющееся указание: припасы на парижских рынках имеются в изобилии, но они дороги: *les subsistances sont toujours abondantes, mais chères* (иногда *très chères* или *extrêmement chères*)⁵². С середины фримера начинают попадаться и особые указания на ухудшающееся качество хлеба. В плювиозе уже временами отмечается такое увеличение дороговизны, что малосостоятельным гражданам невозможно *существовать*, вследствие чего всеобщее недовольство растет⁵³. В вантозе полиции уже самой приходится употреблять такие выражения, как *устрашающая дороговизна* (*subsistances d'une cherté effrayante*)⁵⁴.

Зима была холодная, и это, конечно, обостряло нужду. В начале 1795 г. (в январе — феврале) административные власти отмечают усиливающееся недовольство и ропот. Брожение принимает порою весьма недвусмысленную форму: в первую очередь подвергаются нападениям хлебопекарни и булочники⁵⁵. С каждым днем усиливалось и ожесточение городской голодающей массы против собственной деревни, не желающей давать ни мяса, ни зерна, спекулирующей своими продуктами, подкупающей администрацию. Там, где трудно было продать хлеб по выгодной цене, землевладелец или фермер предпочитал откармливать им птицу, лишь бы не пустить на рынок без достаточной, по его мнению, наживы⁵⁶.

Во многих местах проявлялась настоящая ярость голодающего города против крестьянина, прячущего свой хлеб. Речь заходила о вооруженных экспедициях против алчных земледельцев, пользующихся декретом о свободе торговли, чтобы морить голодом городское население⁵⁷. Нельзя без негодования смотреть на поведение земледельцев, пишут из провинции агенты власти: революция дала крестьянину все, а он делает все, чтобы ее погубить⁵⁸. Что и среди крестьян есть батраки и голодающие полупролетарии, об этом умалчивалось.

Еще весной, летом и осенью 1794 г. для сельских работ не хватало рабочих рук, скота и перевозочных средств: снабжение армий в 1794 г. было налажено лучше, чем в 1792 и 1793 гг., но именно поэтому реквизиции чувствительнее отзывались на местах. Затем появились два очень удобных предлога для совершенно безопасно, почти легализованного нарушения закона о максимуме: по закону 26 фрюктидора продажа и покупка семян для посева не подчинялись общей таксации, а, согласно постановлению 12 вандемьера, из реквизиций было изъято количество зерна, потребное для прокормления владельца и его семьи. Обои́ми этими изъятиями очень злоупотребляли⁵⁹. Нечего и говорить, что, под влиянием общего политического изменения, сами власти и тут смотрели сквозь пальцы на эти злоупотребления и нарушения закона. Наши документы жалуются, что едва можно было найти такого собственника, который согласился бы признать, что, по обеспечении его самого и его семьи, у него остается излишек хлеба. Далее: если, с одной стороны, деревня стала более туго давать хлеб городу, то, с другой стороны, жестоко усилился уже отмеченный выше спекулянтский, часто мошеннический *вывоз казенного хлеба из города*. Власти, как явствует из цитируемого нами документа, отлично зная, что административные органы подкуплены спекулянтами, деликатно говорили об их «беспечности, чтобы не сказать больше». Этой же причиной, конечно, объяснялась и та «крайняя слабость», которая также отмечается властями. И внезапная, совсем неслыханная дерзость спекулянтов, доходившая до последних пределов, и все эти, тоже беспредельные и ничуть не скрываемые, «беспечности» и «слабости» администрации, — все это, как и вдруг обнаружившееся бессилие реквизиций, объяснялось сведущими наблюдателями полным прекращением репрессий в области продовольственных отношений, — ибо, говорит со скорбной иронией цитируемый документ, успешное проведение реквизиций держалось не только на патриотизме, но и на терроре.

И все же, помимо этих вполне открытых беззаконий, получать хлеб из деревни становилось нелегко.

Уже с осени 1794 г. не прекращались слухи о предстоящей в более или менее близком будущем отмене закона о максимуме. Эти слухи, разумеется, тоже сыграли вполне определенную роль; землевладельцы делали все от них зависящее, чтобы по возможности скрыть продукты, надеясь вскоре дожидаться вольных цен и только тогда выпустить зерно на рынок⁶⁰. Это тоже следует принять в соображение, говоря об обстоятельствах голодной зимы 1794—1795 гг.

Провинциальные власти плутовали в самых обширных размерах, и когда из центра их запрашивали о количестве поступающего провианта, о состоянии складов, о морском подвозе хлеба и т. д., они часто даже не трудились отвечать. Комиссия по продовольствию, например, очень хотела знать имена, способности, степень благона-

дежности зрителей складов, но это законное любопытство удовлетворялось весьма скупом⁶¹. Широкий разгул воровства и расхищения казенного имущества начался задолго до Директории. Этому много способствовали беспорядок в делопроизводстве и несогласованность в действиях отдельных ведомств. Сегодня, незаконно, по личному соглашению местных властей, из запасов, предназначенных для Парижа, брали на нужды армии, а завтра оказывалось не трудно, под предлогом также нужд армии, взять из тех же запасов в пользу собственного кармана. Точно так же местные самоуправления незаконно задерживали то, что по закону должно было поступить в распоряжение центрального правительства⁶².

Как ни тяжело было продовольственное положение столицы, оно все же было лучше, чем во многих и многих провинциальных городах и местечках. Дело в том, что для снабжения Парижа принимались как-никак чрезвычайные меры; а те города, которые не были тесно связаны с землей, с деревней, оказывались в отчаянном положении: в этих небольших городах правительство не боялось голодных бунтов, да и мудрено было, в самом деле, прокормить казенным хлебом все города Франции. Вот почему и происходили истории вроде той, которая случилась с рабочими венсенского порохового завода: шла война, и, разумеется, прокормить во что бы то ни стало этих рабочих было важнее и нужнее, чем любую другую категорию граждан. И вот окружным военным складам приказывается (19 вантоза) доставлять муку венсенским рабочим. Но так как никакой муки они все-таки не получают, приходится издать новый декрет: для прокормления рабочих порохового завода разрешается вывозить муку из Парижа⁶³. А вот и другой пример: в Амьене — голод, но достать для этого города хлеб нельзя, так как свыше велено все забирать для Парижа, — не драться же против высших властей, с горечью пишет представитель этих же властей, посланный помочь Амьену⁶⁴. Конечно, дело дошло до голодного бунта, до насильственного захвата обозов, принадлежавших военному ведомству, и т. д. Все это случилось в Амьене 14 жерминаля⁶⁵. Представителя народа, командированного в этот город, Бло (Blaux), жестоко избили и чуть ли не убили. Но и он считает нужным утверждать, что голод был лишь предлогом, а что все дело в заговорщиках, которые, с роялистскими целями, подкупили и напоили допьяна толпу⁶⁶. В Руане тоже в эти дни происходили бурные сцены, со всех сторон слышались крики: «Хлеба и короля!» или «Да здравствует Людовик XVIII! Долой Конвент!» и т. п.⁶⁷

Женщины, долгими часами простаивавшие перед булочными «в очередях» или «в хвостах» (*à la queue*), часто с утра ничего не евшие и знавшие, что дома их ждут голодные дети, естественно, часто доходили до последней степени раздражения, и только слепая злоба роялистского журналиста могла выдумать сказку о каких-то